

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 31

1986



Евгений **ЕВТУШЕНКО**

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

ПОЛТРАВИНОЧКИ

Евгений ЕВТУШЕНКО

ПОЛТРАВИНОЧКИ

Стихи и поэма

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1986

Евгений ЕВТУШЕНКО

Евгений Александрович Евтушенко родился 18 июля 1933 года на станции Зима Иркутской области. Работал в колхозе, затем в геолого-разведочных экспедициях в Казахстане и на Алтае — старшим рабочим и коллектором. Первые стихи были опубликованы в 1949 году. Автор поэтических сборников «Разведчики грядущего», «Третий снег», «Шоссе Энтузиастов», «Стихи разных лет», «Обещание», «Яблоко», «Лук и лира», «Взмах руки», «Нежность», «Идут белые снеги», «Отцовский слух», «Мама и нейтронная бомба», «Почти напоследок», трехтомника избранных стихов, книг статей «Талант есть чудо неслучайное», «Точка опоры», «Война — это антикультура», романа «Ягодные места». Сыграл роль Циолковского в фильме «Взлет», получившем серебряную медаль Московского международного фестиваля. Поставил, как режиссер, фильм «Детский сад», с успехом демонстрировавшийся на многих экранах мира. Автор выставки фотографий «Невидимые нити», показанной во многих городах СССР и за рубежом. Автор популярных песен «Хотя ли русские войны», «Бежит река», «В нашем городе дождь», «А снег идет», «Вальс о вальсе», «Пока убийцы ходят по земле», «Не спеши», «Товарищ гитара». На слова Евг. Евтушенко композитором Д. Д. Шостаковичем создана 13-я симфония и симфоническая поэма «Казнь Степана Разина».

Евг. Евтушенко много ездил по Советскому Союзу, побывал в 79 странах мира. Лауреат Государственной премии СССР.

ПОЛТРАВИНОЧКИ

Смерть еще далеко,
а все так нелегко,
словно в гору — гнилыми ступенечками.
Жизнь подгарчивать вздумала,
как молоко
с обгорелыми черными пеночками.
Говорят мне, вздыхая:
«Себя пожалей»,
а я на зуб возьму полтравиночки,
и уже веселей
от подарка полей —
от кислиночки
и от горчиночки.
Я легонько кусну
лето или весну,
и я счастлив зелененькой малостью,
и меня мой народ
пожалел наперед,
ибо не избаловывал жалостью.
Если ребра мне в драке изрядно помнут,
я считаю,
что так полагается.
Меня в спину пырнут
и никак не поймут —
отчего это он улыбается.
В тех, кого зажалели с младенческих лет,
силы нет,
а сплошные слабиночки.
Полтравиночки на зуб —
вот весь мой секрет,
и на вырост в земле —
полтравиночки.

Р. Быковц

А вы останетесь собой,
когда раздрай и разнбой
в ревнивом стане трубачей
и не поймешь порой — кто чей,
а кто уже давным-давно
с трубой расплющен заодно...

А вы останетесь собой
и под плитой гробовой,
просовывая
сквозь траву,
как золотой кулак,
трубу?

Трубу
перешибут
соплей,
когда сдадитесь
и состаритесь.
А вы останетесь собой?
Если вы есть,
то вы останетесь.

НЕВЕРИЕ В СЕБЯ НЕОБХОДИМО

Да разве святость — влезть при жизни
в святцы?

В себя не верить — все-таки святей.
Талантлив, кто не трусит ужасаться
мучительной бездарности своей.

Неверие в себя необходимо,
необходимы нам тиски тоски,
чтоб темной ночью небо к нам входило
и обдирало звездами виски,
чтоб вваливались в комнату трамваи,
колесами проехав по лицу,
чтобы веревка, страшная, живая,
в окно влетев, плясала на лету.

Необходим любой паршивый призрак
в лохмотьях напрокатных игровых,
а если даже призраки капризны, —
ей-богу, не капризнее живых.

Необходим среди болтливой скуки
смертельный страх произносить слова,
и страх побриться — будто бы сквозь скулы
уже растет могильная трава.

Необходимо бредить неулежно,
проваливаться, прыгать в пустоту.
Наверно, лишь отчаявшись, возможно
с эпохой говорить начистоту.

Необходимо, бросив закорюки,
взорвать себя и ползать при смешках,
вновь собирая собственные руки
из пальцев, закатившихся под шкаф.

Необходима трусость быть жестоким
и соблюдение маленьких пощад,
когда при шаге к целям лжевысоким
раздавленные звезды запищат.

Необходимо с голодом изгоя
до косточек обглаживать глагол.
Лишь тот, кто по характеру — из голи,
перед брезгливой вечностью не гол.

А если ты из грязи, да и в князи,
раскняжь себя и сам сообрази,
насколько раньше меньше было грязи,
когда ты в настоящей был грязи.

Какая низость — самоуваженье...
Создатель поднимает до высот
лишь тех, кого при крошечном движении
ознобом неуверенность трясет.

Уж лучше вскрыть ножом консервным вены
лечь забулдыгой в сквере на скамью,
чем докатиться до комфорта веры
в особую значительность свою.

Благословен художник сумасбродный,
свою скульптуру с маху раздробя,
голодный и холодный,— но свободный
от веры унижительной в себя.

НЕПОНЯТНЫМ ПОЭТАМ

Я так завидовал всегда
всем тем,
кто пишет непонятно,
и чьи стихи,
как полупятна
из полудыма-полульда.
Я формалистов обожал,
глаза восторженно тарашил,
а сам трусливо избегал
абракадабр
и тарабарщин.

Я лез из кожи вон
 в борьбе
со здравым смыслом, как воитель,
но сумасшедшинки в себе
я с тайным ужасом не видел.
Мне было стыдно.
 Я с трудом
над сумасшедшиною бился.
Единственно,
 чего добился, —
вся жизнь —
 как сумасшедший дом.
И я себя, как пыткой, мучил —
ну в чем же я недоборщил
и ничего не отчубучил
такого,
 словно: «дыр... бул... щир...»?

О, непонятные поэты!
Единственнейшие предметы
белейшей зависти моей...
Я —
 из понятнейших червей.
Ничья узда вам не страшна,
вас в мысль никто не засупонил,
и чье-то:

 «Ничего не понял...» —
вам слаще мира и вина.
Творцы блаженных непонятиц,
поверх сегодняшних минут
живите, верой наполняясь,
что вас когда-нибудь поймут.
Счастливицы!

 Страшно между тем
быть понятным, но так превратно,
всю жизнь писать совсем понятно,
уйдя непонятым совсем...

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ЧЕРНОГО ХОДА

Зина Пряхина из Кокчетава,
словно Муромец, в ГИТИС войдя,
так Некрасова басом читала,
что слетел Станиславский с гвоздя.

Созерцали, застыв, режиссеры
богатырский веснушчатый лик,
босоножки ее номер сорок
и подобный тайфуну парик.

А за нею была — пилорама,
да еще заводской драмкружок,
да из тамошних стрелочниц мама
и заштопанный мамин флажок.

Зину словом никто не обидел,
но при атомном взрыве строки:
«Назови мне такую обитель...» —
ухватился декан за виски.

И пошла она, солнцем палима,
поревела в пельменной в углу,
но от жажды подмостков и грима
ухватилась в Москве за метлу.

Стала дворником Пряхина Зина,
лед арбатский долбает сплеча,
то Радзинского, то Расина
с обреченной надеждой шепча.

И стоит она с тягостным ломом,
погрузясь в театральные сны,
перед важным одним гастрономом,
но с обратной его стороны.

И глядит потрясенная Зина,
как выходят на свежий снежок
знаменитости из магазина,
словно там «Голубой огонек».

У хоккейного чудо-героя
пахнет сумка «Адидас» тайком
черноходною черной икрою
и музейным почти балыком.

Вот идет роковая певица,
всех лимитчиц вводящая в транс,
и предательски гречка струится
прямо в дырочку сумки «Эр Франс»

У прославленного экстрасенса,
в снег роняя кровавый свой сок,
в саквояже уютно уселся
нежной вырезки смачный кусок.

Так, прозрачно желают откусать
с непрозрачными сумками все —
парикмахерши и педикюрши,
психиатры и конферансье.

И теперь подметатель, долбитель
шепчет в мамином ветхом платке:
«Назови мне такую обитель...» —
Зина Пряхина с ломом в руке.

Лом не гнется, и Зина не гнется,
ну а в царстве торговых чудес
есть особый народ — черноходцы,
и своя Черноходия есть.

Зина, я в доставаньях не мастер,
но следы на руках все стыдней
от политых оливковым маслом
ручек тех черноходных дверей.

А когда-то, мальчишка невзрачный,
в бабьей очереди тыловой
я хранил на ладони прозрачной
честный номер — лиловый, кривой...

И с какого же черного года
в нашем времени ты завелась,
психология черного хода
и подпольного нэпманства власть?

Самодержцы солений, копчений,
продуктовый и шмоточный сброд
проточить бы хотели, как черви,
в красном знамени черный свой ход.

Лезут вверх по родным, по знакомым,
прут в грядущее, как в магазин,
с черноходным дипломом, как с ломом,
прошибающим пряхиных зин.

Неужели им, Зина, удастся
в их «Адидас» впихнуть, как в мешок,
знамя красное государства
и заштопанный мамин флажок?

Зина Пряхина из Кокчетова,
помнишь — в ГИТИСе окна тряслись?
Ты Некрасова не дочитала.
Не стесняйся. Свой голос возвысь.

Ты прорвешься на сцену с Арбата
и не с черного хода, а так...
Разве с черного хода когда-то
всем народом вошли мы в рейхстаг?!

КАБЫЧЕГОНЕВЫШЛИСТЫ

Не всякая всходит идея,
асфальт пробивает не всякое
семя.
Кулаком по земному шару
Архимед колотил, как
всевышний.
«Дайте мне точку опоры,
и я переверну всю землю!», —
но не дали этой точки
«Кабы чего не вышло...»
«Кабы чего не вышло...» —
в колеса вставляли палки
первому паровозу —
лишь бы столкнуть с пути,
и в скальпель хирурга вцеплялись
всех коновалов пальцы,
Когда он впервые разрезал
сердце — чтобы спасти.
«Кабы чего не вышло...» —
сыто и мордовито
ворчали на аэропланы,
на электрический свет.
«Кабы чего не вышло...» —
и «Мастера и Маргариту»
мы прочитали с вами
позднее на двадцать лет.
Прощание с бормотухой
для алкоголика — горе.
Прыгать в рассольник придется
соленому огурцу.
Но есть алкоголики трусости —
особая категория.
«Кабычегоневышлисты» —
по образному словцу.
Их руки дрожат, как от пьянства,
их ноги нетрезво
подкашиваются,

когда им дают на подпись
поэмы и чертежи,
и даже графины с водою
побулькивают по-алкашески
у алкоголиков трусости,
у бормотушников лжи.
И по проводам телефонным
ползет от уха до уха,
как будто по сладким шлангам,
словесная бормотуха.

Вместо забот о хлебе,
о мясе,
о чугуне
слышится липкий лепет:
«Кабы.. чего... не...»
На проводе Петр Сомневалыч.
Его бы сдать в общепит!
Гражданственным самоваром
он весь от сомнений кипит.
Лоб медный вконец распаялся.
Прет кипяток сквозь швы.
Но все до смешного ясно:
«Кабы... чего... не вы...»
Выставить бы Филонова
так, чтобы ахнул Париж,
но —

как на запах паленого:
«Кабы... чего... не выш...»
Пока доказуются истины,
рушатся в никуда
кабычегоневышлителями
высасываемые года...
Кабычегоневышлизмом,
как засухой,
столькое выжгло.

Под запоздалый дождичек
стыд подставлять решето.
Есть люди, всю жизнь положившие,
чтобы хоть что-нибудь
вышло,
и трутни,
чей труд единственный —
чтобы не вышло
ничто.

Взгляд на входящих нацелен,
 словно двуствольная «тулка»,
 как будто любой проситель —
 это тамбовский волк.
 Сейф, где людские судьбы,—
 волокитовая шкатулка,
 которая впрямь по-волчьи
 стальными зубами: «Щелк!»
 В доспехах из резолюций
 рыцари долгого ящика,
 где даже носастая Несси
 и та не наткнется на дно,
 не лучше жуков колорадских
 и морового ящура
 хлеба и коров пожирали
 с пахарями заодно.
 И овдовела земляца,
 лишенная ласки сеющего,
 затосковала гречиха,
 клевер уныло полег,
 и подсекала под корень
 измученный колос
 лысенковщина,
 и квакать учились курицы,
 чтоб не попасть под налог.
 В лопающемся френче
 Кабычегоневышлистенко,
 сограждан своих охраняя
 от якобы вредных затей,
 видел во всей кибернетике
 лишь мракобесье и мистику
 и отнимал компьютеры
 у будущих наших детей.
 И, отвергая все новое,
 откладыватели,
 непушатели:
 «Это беспрецедентно!» —
 грозно махали печатями,
 забыв,
 что с ветхим ружьишком,
 во вшах,
 разула,
 раздета,
 Октябрьская революция
 тоже беспрецедентна!

И я приветствую время,
 когда
 по законам баллистики
из кресел летят вверх тормашками —
 «кабычегоневышлистики».

Великая Родина наша,
 из кабинетов их выставь,
дай им проветриться малость
 на нашем просторе большом.
Когда карандаш-вычеркиватель
 у кабычегоневышлистов,
есть пропасть
 меж красным знаменем
 и красным карандашом.

На знамени Серп и Молот
 страна не случайно вышила,
а вовсе не чье-то трусливое: «Кабы чего не вышло...»!

ПРОИЗВОДИТЕЛИ УРОДСТВА

Производители уродства,
ботинок
 тяжких, как гробы,
тех шляп,
 куда, как внутрь колодца,
угрюмо ныривают лбы —
скажите, вас еще не мучил,
как будто призрак-лиходея,
костюм для огородных чуел,
бросающийся на людей?
У вас поджилки не трясутся
от липких блуз,
 от хлипких бус,
производители отсутствия
присутствия
 того, что вкус?
Уродство выросло в заразу.
Вас не пронизывает стыд
за мебель,
 у которой сразу
болезнь слоновья
 и рахит?
В поту холодном просыпаюсь.
Я слышу лязгающий сон —
распорот лермонтовский парус
для ваших варварских кальсон.

Производители уродства,
вы так хватаетесь за власть.
Производить вам удастся
друг друга,

чтобы не упасть.

Производители уродства,
производители того
преступнейшего производства,
которое —

ни для кого.

На плечи Лондон вы надели,
впихнули ноги в Рим рожком,
и даже запонки из Дели...
А как же быть с родным Торжком?

Производители уродства,
захламливатели земли,
вы проявите благородство —
носите, что произвели!

Наденьте,
словно каждый — витязь,
бюстгальтеры,

как шишаки,
и хоть на время удавитесь
удавкой

галстучной кишки!
А мы,

заплакав через силу,
в честь ваших праведных трудов
к вам

соберемся
на могилу
в мильонах
траурных трусов!

* * *

Не отдала еще
всех моих писем

и не выбросила в хлам,
но отдаляешься,
как будто льдина, где живем —
напополам.

Ты спишь безгрешнейше,
ты вроде рядом —
только руку протяни.

но эта трещина
скрежещет мертвенным крахмалом простыни.
Ты отдаляешься,
и страшно то, что потихоньку,
не спеша.

Ты отделяешься,
как от меня,
еще не мертвого,
душа.

Ты отбираешь все —
и столько общих лет,
и наших двух детей.

Ты отдираешься
живую кожей
от живых моих костей.

Боль отделения
кромсает,
зверствует.

На ребрах — кровь и слизь
вдоль отломления
двух душ,
которые почти уже срослись.

О, распроклятое
почти что непреодолимое «почти»!
Как все распятое
или почти уже распятое —
Легко, спасти?

умеючи,—
словно пираньи, лишь скелет оставив дну,—
сожрали мелочи
неповторимую любовь еще одну.
Но пожирательство,
оно заразно,
словно черная чума,
и на предательство
любовь, что предана,
пошла уже сама.

И что-то воющее
в детей вцепляется,
не пряча в шерсть когтей.

Любовь —
 чудовище,
что пожирает даже собственных детей.
За ресторанину,
за пожирательство всех лучших твоих лет
я христианнейше
прошу — прости,
 не пожирай меня в ответ.
Есть фраза пошлая:
у женщин прошлого, как говорится, нет.
Я —
 твое прошлое,
и, значит, нет меня.
 Я — собственный скелет.
Несу я с ужасом
свои останки во враждебную кровать.
Несуществующим
совсем не легче на земле существовать.
Моя любимая,
ты воскреси меня,
 ребенка своего,
лепи,
 лепи меня
из всех останков,
 из себя,
 из ничего.
Ты —
 мое будущее,
моя мгновенная и вечная звезда.
Быть может, любящая,
но позабывшая, как любят...
 Навсегда?

ПРОХОДНЫЕ ДЕТИ

Облака над городом Тольятти,
может, из Италии плывут.
Был бы я севрюгою в томате,
вряд ли оказался бы я тут.
Колбаса застенчиво таится,
и сияет всюду из витрин
огуречный сок из Кутаиси —
говорят, лекарство от морщин.

Кран берет легко машины в лапы,
и к малоизвестным господам
едут на платформах наши «Лады»
в города Париж и Амстердам.

Чинно происходит пересменка.
Два потока встречных у ворот.
Клавдия Ивановна Шульженко
«Вальс о вальсе» в рупоре поет.

Мама второсменная шагает
с трехгодовым сыном среди луж
и толпу глазами прожигает —
где он, первосменный ее муж?

И под этот самый «Вальс о вальсе»
говорит в гудящей проходной:
«Получай подарок мокрый, Вася,
да шмаляй домой, а не к пивной».

Кто-то застревает в турникете —
видно, растолстел от запчастей.
Называют «проходные дети»
в проходной вручаемых детей.

С видом неприкаянно побочным
там стоят укором и виной
в «Диснейленде» нашем шлакоблочном —
«проходные дети» в проходной.

В нашем веке, кажется, двадцатом —
это же такая всем нам стыдь!
Стал бы я огромным детским садом,
чтобы всех детей в себя вместить.

Отдал бы я все мои рифмишки,
славы натирающий хомут
и пошел бы в плюшевые мишки,
да меня, наверно, не возьмут.

То ли рупор этот раскурочить,
то ли огуречный тяпнуть сок?
Клавдия Ивановна, погромче!
Клавдия Ивановна, вальсок!

ФУКУ!*

В году далеком, сорок первом,
пропахшем драмой,
я был мальчишкой бедным-бедным
в шапчонке драной.

В какой бы ни был шапке царской
и шубе с ворсом,
кажусь я мафии швейцарской
лишь нищим с форсом.

Как бы в карманах ни шуршало,
для подавальщиц
я вроде драного клошара
неподобающ.

Перрон утюжа, словно скатерть,
тая насмешку,
носильщик в жисть мне не подкатит
свою тележку.

Когда в такси бочком влезаю,
без безобразий,
таксист, глаза в глаза вонзая,
бурчит: «Вылазий!»

Сказала девочка в Зарядье:
«У вас, мужчина,
есть что-то бедное во взгляде...
Вот в чем причина!»

И я тогда расхохотался.
Конец хороший!
Я бедным был. Я им остался.
Какая роскошь!

Единственная роскошь бедных
есть роскошь ада,
где нету лживых морд победных
и врать не надо.

Единственная роскошь бедных
есть роскошь слова
в пивных, в колясках инвалидов,
с присвистом сплева.

* Фрагменты поэмы

Единственная роскошь бедных
есть роскошь ласки
в хлевах, в подъездах заповедных,
в толпе на пасхе.

Единственная роскошь бедных —
в трамвае свалка,
зато им грошей своих медных
терять не жалко.

А если есть в карманах шелест,
все к черту брошу,
и я роскошно раскошелюсь
на эту роскошь.

Умру последним из последних,
но с чувством рая.
Единственная роскошь бедных —
земля сырая.

Но не дают мне лица, лица
уйти под землю.
Я так хотел бы поделиться
собой — со всеми.

Все, что я видел и увижу,
все, что умею,
я и Рязани, и Парижу
не пожалею.

Сломали кости мне на рынке,
вдрызг избивая,
но все отдам я Коста-Рике
и Уругваю.

От разделенных крошек хлебных
и жизнь продлится.
Единственная роскошь бедных —
всегда делиться.

Актриса не могла разломить краюху хлеба, как его разломила когда-то сибирская крестьянка на перроне. Актриса очень старалась, но в пальцах была ложь. И тогда за плечом оператора я увидел в толпе любопытных старуху. У нее были глаза женщины, отстоявшей в тысячах очередей. Ее не нужно было переодевать, потому что в восемьдесят третьем году она была одета точно так же, как одевались в сорок первом.

— Может быть, попробуете вы? — тихо спросил я.

Она взяла узелок с краюхой и присела на мешок, прислоненный к бревенчатой стене железнодорожного склада. Не обращая никакого внимания на стрекот включившейся камеры, она не просто посмотрела на стоявшего перед ней мальчика, а увидела его и поняла, что он голодный.

— Иди сюда, сынок, — не произнесла, а вздохнула она и стала развязывать узелок. Она разламывала хлеб, чувствуя каждую его шершавинку пальцами. Точно разделив пополам краюху, она протянула ее мальчику так, чтобы не обидеть жалостью. А потом, легонько поправив левой рукой седые волосы, выбившиеся из-под платка, поднесла правую ладонь ко рту лодочкой — так, чтобы не выпало ни одной крошки! — слизнула их, неотрывно глядя на жадно жующего мальчика, и наконец-то не преодолела жалости, все-таки прорвавшейся из полыхнувших мучительной синевой глаз. Оператор заплакал, а у меня исчезло ощущение границ между временами, между людьми, как будто передо мной была та самая сибирская крестьянка из моего детства, протягивавшая мне половину краюхи той же самой рукой с темными морщинами на ладони, с бережными бугристыми пальцами, на одном из которых тоненько светилось дешевенькое алюминиевое колечко.

Что может быть прекрасней исчезновения границ между временами, между людьми, между народами...

Я уважаю вас,
пограничники розоволицые,
хранящие нашу страну,
не смыкая ресниц,
а все-таки здорово,
что в ленинской книге «Государство и
революция»
предсказан мир,
где не будет границ.

В каждом пограничном столбе есть нечто
неуверенное.

Тоска по деревьям и листьям — в любом.
Наверно, самое большое наказание для дерева —
это стать пограничным столбом.
На пограничных столбах отдыхающие птицы,
что это за деревья —

не поймут хоть убей.

Наверно,
 люди сначала придумали границы,
 а потом границы
 стали придумывать людей.
 Границами придуманы —
 полиция, армия и пограничники,
 границами придуманы
 таможни
 и паспорта.
 Но есть, слава богу,
 невидимые нити и ниточки,
 рожденные нитями крови
 из бледных ладоней Христа.
 Эти нити проходят,
 колючую проволоку прорывая,
 соединяя с любовью — любовь
 и с тоскою — тоску,
 и слеза, испарившаяся где-нибудь в Парагвае,
 падает снежинкой
 на эскимосскую щеку.
 И, наверное, думает
 чилийская тюремная стена,
 ставшая чем-то вроде каменной границы:
 «Как было бы прекрасно,
 если б меня разобрали
 на
 луна-парки,
 школы
 и больницы...»
 И, наверное, думает нью-йоркский верзила-небоскреб,
 забыв, как земля настоящая пахнет пашней,
 морща в синяках неоновых лоб:
 как бы обняться —
 да не позволяют! —
 с кремлевской башней.
 Мой доисторический предок,
 как призрак проклятый, мне снится.
 Черепа врагов, как трофеи, в пещере копя,
 он когда-то провел
 самую первую в мире границу
 окровавленным наконечником
 каменного копья.
 Был холм черепов.
 Он теперь в Эверест увеличился.

На фоне детского церковного хора в монастыре Ламбах мальчик Адольф поражает эмбриональной фюрерской позой — он стоит в заднем ряду выше всех, с подчеркнутой отдельностью, сложив руки на груди и устремив глаза в некую, невидимую всем остальным точку. Впрочем, и на других фотографиях он стоит выше всех, хотя был маленького роста. На цыпочки он привставал, что ли? Откуда такая ранняя мания величия?

Он был одним из шести детей. Его пережила лишь Паула, скончавшаяся в 1960 году. Густав прожил всего два года, Ида — два года, Отто — всего несколько месяцев, Эдмунд — шесть лет. Кто знает, может быть, когда крошка Адольф появился на свет, отец ворчливо говорил матери:

— Судя по всему, и этот долго не протянет...

Может быть, Адольф, подсознательно запомнивший эти разговоры, уверовал в свою исключительность, когда выжил?

Гитлер вырос сиротой в доме тетки, приютившей его. Может быть, его озлобил черствый хлеб сиротства? Правда, никаких сведений о том, что тетка била его или держала в черном теле, нет... По некоторым версиям, бабушка Гитлера по материнской линии была еврейкой, и в школе его дразнили «жидом». Не отсюда ли его патологический антисемитизм? Но нет ли в этой версии антисемитского привкуса?

Две несчастных любви — одна еще в школе к девочке Штефани, а потом к кузине Анжелике Раубаль, которую родственники и знакомые затравили своим ханжеством, доведя до самоубийства в 1931 году, после чего Гитлеру подложили Еву Браун... Есть примеры, когда несчастная любовь не озлобляет, а облагораживает... Правда, не в случае с Гитлером.

Но думаю, что разгадка его озлобленности в другом.

Гитлер был несостоявшимся художником и переживал свою непризнанность как оскорбительное унижение. Я видел его рисунки и думаю, что средние профессиональные способности у него были. Но опасно, если средние способности сочетаются с агрессивной манией величия. Гитлера дважды не приняли в Академию искусств в Вене — в 1907 и в 1908 годах. Тогда в Вене была большая еврейская община — в основном выходцы из Галиции, и, возможно, именно еврей-торговцы отвергали картины Гитлера или покупали за бесценок, не догадываясь, что тем самым готовят себе будущего палача?

Как бы то ни было, прежде чем Гитлер стал крысой, внутри его появилась крыса неудовлетворенного тщеславия, раздиравшая ему кишки.

Вероятно, именно из-за тщеславия Гитлер, всячески увиливавший от службы в австрийской армии, вступил добровольцем в 16-й баварский полк, ибо хотел доказать оружием то, чего не мог доказать кистью, — что он достоин славы.

В 1918 году под селом Ла Монтань он попал под французскую атаку отравляющим газом «желтый крест» и ослеп. Когда с его глаз сняли повязку и он снова увидел свет божий, он поклялся, что станет прославленным художником. Но в день тогдашней капитуляции Германии, возможно, от обуревавших его трагических чувств он снова ослеп, и когда прозрел, то на сей раз поклялся посвятить жизнь борьбе против жидов и красных, не понимавших его живописи.

Впрочем, он выполнил и первую клятву, став действительно самым прославленным художником смерти. Он расплескал кровавую краску по распоротому холсту земного шара, расставил скульптуры виселиц, воздвиг обелиски руин и впервые, еще до американского скульптора Колдера, создал изысканные провололочные композиции. Он заставил себя признать как факт, он добился того, что о нем «заговорили».

Гитлер был мелким спекулянтом, выдвинутым крупными спекулянтами. Его личная болезненная гигантомания была им нужна, чтобы развернуть свои спекуляции до гигантских кровавых масштабов. Поэтому они за Гитлера и ухватились. Фашизм — это гигантомания бездарностей.

Осторожней с бездарностями — особенно если в их глазах вы видите опасно энергичные искорки гигантомании.

По мрачному парадоксу в доме, где провел свое детство Гитлер, теперь живут кладбищенские могильщики.

В день рождения Гитлера

под всевидящим небом России
эта жалкая кучка парней и девчонок

не просто жалка,
и сережка со свастикой крохотной — знаком нациста,
расиста
из проколотой мочки торчит

у волчонка, а может быть,
просто щенка.

Он, Васек-полупанк,

с разноцветноволосой и с веками
синими Ньюкой,
у которой в прическе с такой же кустарненькой
свастикой брошь,
чуть враскачку стоит и скрипит своей черной,
из кожаменителя курткой.

Соблюдает порядок.

На пушку его не возьмешь.

Он стоит

посреди отягченной могилами братскими Родины.
Инвалиду он цедит:

«Папаша, хилий, отдыхай...

Ну чего ты шумишь? —

Это в Индии — знак плодородия.

Мы, папаша, с индусами дружим...

Сплошное бхай-бхай!»

Как случиться могло,

чтобы эти, как мы говорим, единицы

уродились

в стране двадцати миллионов и больше —

теней?

Что позволило им,

а верней, помогло появиться,

что позволило им

ухватиться за свастику в ней?

Тротуарные голуби

что-то воркуют на площади каркаяще,

и во взгляде седого комбата

отеческий гнев,

и глядит на потомков,

играющих в свастику,

Карбышев,

от позора и ужаса

заново обледенев...

Но есть имена, на которые сама история налагает после их смерти свою фуку, чтобы они перестали быть именами.

Имя этого человека старались не произносить еще при его жизни — настолько оно внушало страх.

Однажды нахохлясь, как ястреб, в темно-сером ратиновом пальто с поднятым воротником, он ехал в своем черном ЗИМе ручной сборки, по своему обыкновению, медленно, почти прижимаясь к бровке тротуара. Между поднятым выше подбородка кашне и низко надвинутой шляпой сквозь полузадернутые белые занавески наблюдающе поблескивало золотое пенсне на крючковатом носу, из ноздрей которого торчали настороженные седые волосы.

Весело перешагивая весенние ручьи с корабликами из газет, где, возможно, были его портреты, и размахивая клеенчатым портфелем, по тротуару шла стройная, хотя и слегка толстоногая, десятиклассница со вздернутым носиком и золотыми косичками, торчавшими из-под синего — под цвет глаз — берета с задорным поросычьим хвостиком. Человеку-ястребу всегда нравились слегка толстые ноги — не чересчур, но именно слегка. Он сделал знак шоферу, и тот, прекрасно знавший привычки своего начальника, прижался к тротуару. Выскочивший из машины начальник охраны галантно спросил школьницу — не подвезти ли ее. Ей редко удавалось кататься на машинах, и она не испугалась, согласилась.

Впоследствии человек-ястреб неожиданно для самого себя привязался к ней. Она стала его единственной постоянной любовницей. Он устроил ей редкую в те времена отдельную квартиру напротив ресторана «Арагви», и она родила ему ребенка.

В 1952 году ее школьная подруга пригласила к ней на день рождения меня и еще двух других, тогда громыхавших лишь в коридорах Литинститута, а нынеотяжеленных славой поэтов.

«Сам» был в отъезде и не ожидался, однако у подъезда топтались в галошах два человека с незапоминающимися, но запоминающими лицами, а их двойники покуривали папиросы-гвоздики на каждом этаже лестничной клетки.

Стол был накрыт а-ля фуршет, как тогда не водилось, и несмотря на то, что вектрола наигрывала танго и фокстроты, никто не танцевал, и немногие гости напряженно жались по стенам с тарелками, на которых почти нетронутую лежали фаршированные куриные гребешки, гурийская капуста и сациви без косточек, доставленные прямо из «Арагви» под личным наблюдением похожего на пенсионного циркового гиревика великого Лонгиноза Стожадзе.

— Ну почему никто не танцует? — с натянутой веселостью спрашивала хозяйка, пытаясь вытащить за руку хоть кого-нибудь в центр комнаты. Но пространство в центре оставалось пустым, как будто там стоял неожиданно возникший «сам», нахохлясь, как ястреб, в пальто с поднятым воротником, и с полей его низко надвинутой шляпы медленно капали на паркет бывшие снежинки, отсчитывая секунды наших жизней...

Как мне рассказали, через много лет, после того как человека-ястреба расстреляли, она (по ныне полузабытому выражению) «сошлась» с валютчиком Рокотовым, который затем тоже был расстрелян.

Так, размахивая клеенчатым портфелем, московская школьница вошла в историю из-за своих слегка толстых ног — не чересчур, но именно слегка...

Семьдесят,
если я помню,
седьмой.

Мы на моторках
идем Колымой.
Ночь под одной из нечаянных крыш,
а в телевизоре —
здрасьте —

Глаза протру —
я в своем ли уме:
«Неделя Франции» на Колыме!

С телеэкрана глядит Азнавур
на общежитие —

бывший БУР*.

А я пребываю в смертельной тоске,
когда над зеркальцем в грузовике
колымский шофер девятнадцати лет
хвастливо повесил известный портрет,
а рядом —

плейбойские герлс голышом,
такие,

что брюки встают шалашом.

«Чего ты,

папаша,

с прошлым

пристал?

Ты бы мне

клевые джинсы

достал...»

Опомнись,

беспамятный глупый пацан,—

колеса по дедам идут,

по отцам.

Колючая проволока о былом

напомнит,

пропарывая баллон.

В джинсах любых

далеко не уйдешь,

ибо забвенье истории — ложь.

Тот, кто вчерашние жертвы забудет,

может быть,

завтрашней жертвой будет.

Переживаемая тоска,

как пережимаемая рука

рукой противника

ловкого тем,

что он избегает лагерных тем.

Пожалте, стакашек,

пожалте, котлет.

Для тех, кто не думает,—

прошлого нет.

* БУР — барак усиленного режима.

Какие же все-таки вы дураки,
слепые поклонники сильной руки.
Нет праведной сильной руки одного —
есть сильные руки народа всего!

Поет на экране

Мирей Матье.

Колымским бы девушкам такое шмутье —
они бы сшмаляли не хуже ее!
Трещит от локтей в общежитии стол.
Противник со мной продолжает спор.
Не может он мне доказать что-нибудь,
а хочет лишь руку мою перегнуть.
Так что ж ты ослабла,

моя рука,

как будто рука

доходяги-ЗК?

Но если я верю,

как совесть,

в народ,

ничто

мою руку

не перегнет!

И с хрустом

сквозь стол

прорастают вдруг

тысячи сильных надежных рук —

руки, ломавшие хлеб,

не кроша,

чтоб у меня

удержалась душа,

руки, меня воспитавшие так,

чтобы всю жизнь штурмовал я рейхстаг,

и гнут

под куплеты парижских актрис

почти победившую руку —

вниз.

Но на Колыму попадали разные люди, и не только невинные...

Около остановленной на перерыв золотопромывочной драги, над которой развевалось переходящее Красное знамя, на траве, рядом с другими рабочими, сидел старичок в латаном ватнике, еще крепенький, свеженький, с веселенькой бородавкой на кончике носа. Старичок аккуратно разрезал юкагирским ножом с обшитой мехом руч-

кой долговязый парниковый огурец, но не темный, с полированными боками, а нежно-зеленый, с явно несовхозными пупырышками. Старичок взял щепотку соли из спичечного коробка с портретом Гагарина, посолил обе половинки огурца и не спеша стал потирать одну о другую, чтобы соль не хрустела на зубах, а всосалась в бледные влажные семечки. Затем старичок достал из холщовой сумки с надписью «Гагры» бутылку с отвинчивающейся пробкой, где, несмотря на этикетку югославского вермута, в явно непромышленной жидкости плавали дольки чеснока, веточки укропа, листики петрушки, красный колпачок перца, и налил рассудительной струей в фарфоровую белую кружку, не предложив никому.

— Удались у тебя огурцы, Остапыч... — со вздохом сказал один из рабочих, однако глядя с завистью не на огурец, а на бутылку, нырнувшую снова в субтропики.

— А шо ж им не уdatься! — осклабилс старичок, индивидуально крикая и хрумкая огурцом так, что одно из семечек взлетело и присело на бородавку. — Стекла у меня в парничке двойные... Паровое отопление найкращее — на солярке... Удобреньицами не брезгую... Огирок, вин, як чоловик, заботу кохае...

— Знаем, как ты, Остапыч, людей кохал — на немецкой душегубке в Днепропетровске, — угрюмо пробурчал обделенный самогоном рабочий.

— Кто старое помянет — тому глаз вон!.. — ласковенько ответил старичок и обратился ко мне, как бы прося поддержки: — Я свои двадцать рокив отбыл и давно уже, можно сказать, полностью радянський рабочий класс. Так шо воны мене той душегубкой попрекают? Хиба ж я туды людей запикивал — я ж тильки дверь у той душегубки захлопывал...

— К сожалению, наш лучший бригадир... — мрачно шепнул мне начальник карьера. — В прошлом году его бригада по всем показателям вперед вышла. Красное знамя надо было вручать. А как его вручать — в полицейские руки? Наконец нашли выход — премировали его путевкой в Гагры, а знамя заместителю вручили... Такой коленкор...

Предатель молодогвардейцев,
нет,

не Стахович,

не Стахевич,

теперь живет среди индейцев
и безнаказанно стареет.

Владелец грязненького бара
под вывеской:

«У самовара»
 он существует худо-бедно,
 и все зовут его
 «Дон Педро».
 Он крестик носит католический.
 Его семейство
 увеличивается,
 и в баре ползают внучата —
 беспштанненькие индейчата.
 Жует,
 как принято здесь,
 бетель,
 он
 местных пьяниц благодетель,
 но, услышав язык родимый,
 он вздрогнул,
 вечно подсудимый.
 Он руки вытер о штаны,
 смахнул с дрожащих глаз блестинку
 и мне сует мою пластинку
 «Хотят ли русские войны?».
 «Не надо ставить!..»
 «Я не буду!..
 Как вы нашли меня,
 Иуду?
 Что вам подать?
 Несу, несу..
 Хотите правды —
 только всю?»
 ...Из Краснодона дал он драпа
 в Венесуэлу
 через Мюнхен,
 и мне
 про ужасы гестапо
 рассказывает он под мухой.
 «Вот вы почти на пьедестале,
 а вас
 хоть una vez*
 пытали?
 Вам заводную ручку
 в culo**

* Один раз (исп.).

** Зад (исп.).

втыкали,
чтобы кровь хлестнула?
Вам в пах плескали купороса?
По пальцам били doloroso? *
Я выдавал

сначала мертвых,
но мне сказали:
«Без уверток!»

Мою сестру
со мною рядом
Они насиловали стадом.
Электропровод ткнули в ухо.
Лишь правым слышу.

В левом — глухо.
Всех предал я,

дойдя до точки,
не разом,
а поодиночке.
Что мог я в этой мясорубке?
Я — traidor**

Олега,
Любки.
Ошибся в имени Фадеев...
Но я не из шпиков-злодеев.
Я поперек искромсан,
вдоль.

Не я их выдал —
моя боль... *
Он мне показывает палец,
где вырван был при пытке ноготь,
и просит он,

беззубо скалясь,
его фамилии не трогать.
«Вдруг живы мать моя,
отец?!

Пусть думают, что я —
мертвец.
За что им эта verguenza? *** —
и наливает ром с тоской
предатель молодогвардейцев
своей трясущейся рукой...

* Больно (исп.).

** Предатель (исп.).

*** Позор (исп.).

В бытность мою пионером неподалеку от метро «Кировские ворота», в еще не снесенной тогда библиотеке имени Тургенева, шла читательская конференция школьников Дзержинского района по новому варианту романа «Молодая гвардия».

Присутствовал автор — молодо-седой, истощенно-красивый. Переделка романа, очевидно, далась ему нелегко, и он с заметным напряжением вслушивался в каждое слово, ввинчивая кончики пальцев в белоснежные виски, как будто его скульптурную голову дальневосточного комиссара мучила непрерывная головная боль.

Мальчики и девочки в пионерских галстуках, держа в руках шпатель, на сей раз составленные с горячим участием учителей, пламенно говорили о том, что если бы они оказались под гестаповскими пытками, то выдержали бы, как бессмертные герои Краснодона.

Я незапланированно поднял руку. В президиуме произошел легкий переполох, но слово мне дали.

Я сказал:

— Ребята, как я завидую вам, потому что вы так уверены в себе. А вот у меня есть серьезный недостаток. Я не выношу физической боли. Я боюсь шприцев, прививочных игл и бормашин. Недавно, когда мне выдирали полипы из носа, я страшно орал и даже укусил врача за руку. Поэтому я не знаю, как бы я вел себя во время гестаповских пыток. Я торжественно обещаю всему собранию и вам, товарищ Фадеев, по-пионерски бороться с этим своим недостатком.

Величественная грудь представительницы гороно тяжело вздымалась от ужаса. Но она мужественно держалась, в последнее мгновение заменив крик общественного возмущения, уже высунувшийся из ее скромно накрашенных губ, на глубокий педагогический вздох.

— Этот мальчик — позор Дзержинского района... — сказала она скорбным голосом кондитера из «Трех толстяков», когда в любовно приготовленный им торт с цукатами и кремовыми розочками плюхнулся влетевший в окно продавец воздушных шаров. — Надеюсь, что другие учащиеся дадут достойный отпор этой вражеской вылазке...

Неожиданно для меня из зала выдвинулся Ким Карацупа, по кличке Цупа, который сидел на парте за моей спиной и всегда списывал у меня сочинения по литературе. Цупа преобразился. Он пошел к трибуне не расхлябанной марьинорощинской походочкой, обычной для него, а почти строевым шагом, как на уроках по военному делу. Цупа пригладил рыжие вихри и произнес голосом уже не пионера, а пионервожатого:

— Как сказал Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Но разве трусы, боящиеся наших советских врачей, могут летать? Таких трусов беспощадно заклеим Горький: «Рожденный ползать летать не может». Трусость ужей не к лицу нам, продолжателям дела молодогвардейцев. Мы, пионеры 7-го класса «Б»

35

Когда я учил Сашу читать, дело шло туго, но он — очевидно, по Фрейду — мгновенно прочел вслух слово «юбка». Как большинство детей на земле, мои сыновья постоянно около юбок, а не около моих шляющихся неизвестно где штанов. Саша вовремя начал ходить, вовремя заговорил. У Саши странная смесь взрывчатой, во все стороны расшвыриваемой энергии и неожиданных приступов подавленной сентиментальности. Он может перевернуть все кверху дном, а потом вдруг замирает, прижавшись лбом к окну, по которому ползут струйки дождя, и долго о чем-то думает.

Тоша плохо отсасывал молоко, не рос, лежал неподвижно. Родничок на его голове не закрывался.

— Плохой мальчик. Очень плохой... — проскрипела знаменитая профессор-невропатолог и безнадежно покачала безукоризненно белой шапочкой.

В наш дом вошло зловещее слово «цитомегаловирус».

Но моя жена не сдавалась.

Она не давала Тоше умирать, не давала ему не шевелиться, разговаривала с ним, хотя он, может быть, ничего не понимал. Впрочем, говорят, дети слышат и понимают все, даже когда они в материнской утробе.

Однажды рано утром жена затрясла меня за плечо с глазами, полными счастливых слез:

— Посмотри!

И я увидел над боковой стенкой детской кровати, сделанной из отходов мрачного учрежденческого ДСП, впервые поднявшуюся, как перископ, белокурую головку нашего младшего сына с уже полусмысленными глазами.

Цитамегаловирус сделал свое дело — он успел разрушить часть мозговых клеток. Но моя жена неистовым упорством раскопала новейшую программу физических упражнений, когда три человека не дают ребенку отдыхать, двигают его руками и ногами и заставляют его самого двигаться. Непрерывный труд. Восемьдесят упражнений с десяти утра до шести вечера. Тогда другие клетки активизируются и принимают на себя функции разрушенных.

Появились помощники. Некоторые оказались способными лишь на помощь всплесками и быстро испарялись, исполнив разовый гуманистический долг. Я заметил, что многие могут быть добровольцами лишь по общественному поручению, а добровольное добровольчество им неведомо. Но были и те, кто работал, как волы.

Это, конечно, моя жена. Ангел-хранитель нашей семьи, бывшая калужская медсестра Зина, которой Тоша сказал свое самое первое в жизни «Зи». Геодезистка-татарка Валентина Каримовна с вкрадчивой кочевничей походкой и черносливными глазами — «Ки». Украинка Вера, защитившая диссертацию о воспитании детей у японцев, хотя она ни разу не побывала в Стране восходящего солнца

по причинам, от нее не зависящим,— «Ве». Аспирантка-психолог, сибирячка, по происхождению из ссыльных поляков, Марина — «Ри». Знаменитый ватерполист, а ныне просто хороший человек — Игорь. Студент-абхазец Валера, тайно пишущий стихи, из которого никогда не получится поэт, но зато получится прекрасный отец,— «Ле». Похожий на Илью Муромца и одновременно на миллионера Савву Морозова, поддерживавшего большевистскую подпольную организацию, шофер и бильярдист Вадим, приносящий в подарок то выигранные им бронзовые подсвечники, то банку маринованных белых грибов из тоскующего по нему родного Ярославля,— «Ди». Мой старший сын Петя — «Пе». Самые дисциплинированные помощники — английские студенты из института русского языка для иностранцев, напевающие Тоше во время упражнений его любимую песенку «Black sheep», соперничающую только с «Крокодилом Геной». Тоша их называл так: «Дж», «Э», «Ру», «Мэ». А трудное имя Джуна он как по волшебству произнес сразу.

Образовался целый интернационал, поднимающий на ноги ребенка. Этот интернационал разминал его, мял, как скульптор мнет глину. Этот интернационал лепил из него человека. И благодарный за это маленький человек прилежно ползал по полу, дуя на маячащие перед ним зажженные спички, сопя, взбирался и спускался по лестнице, переворачивался с боку на бок, взлетал к потолку на веревочных качелях, пыхтел в прозрачной воздушной маске, и его фиалковые мамыны глаза стали потихонечку думать, а ноги, раньше такие неловкие, как у деревяненького бычка, стали все крепче и крепче ходить по земле.

Но в нашем доме появлялись и наблюдательствующие поучители. Ужас вызывало то, что с ребенком играют спичками. Настежь открытые форточки бросали в дрожь, как потрясание основ. А одна дама, бывшая заведующая отделом знамен в магазине «Культовары» на улице 25-го Октября, пришедшая узнать, не нужна ли нам «домоправительница», — она именно так и сказала, избегая унизительного, по ее мнению, слова «домработница», — трагически воздела руки, увидев Тошины гимнастические сооружения и кольца, ввинченные в потолок:

— Простите меня, но это же средневековая камера пыток. Ребенку прежде всего нужен покой и калорийная пища!

А с Тошей продолжала работать и врач-логопед, с библейскими печальными глазами, Лариса, — доставала один за другим по новому звуку из его губ волшебным металлическим прутиком с шариком на конце.

А позавчера Тоша, когда мы, незаметно для него, перестали поддерживать его за локти, впервые начал подпрыгивать сам на старой раскладушке, как на батуте, и сказал трудное полуслово «пры».

Поднять бы и Петю,
и Сашу,
и Тошу,
на мам не свалив,
но если чужих, неизвестных мне, брошу,
я брошу своих.
Поднять бы сирот Кампучии,
Найроби,
спасти от ракет.
Детишек чужих, как чужого народа,
нет.
Поднять бы мальцов из Аддис-Абебы,
всем дать им поесть,
шепнуть зулусенку:
«Хотелось тебе бы
Шекспира прочесть?»
И, может, от голода в Бангладеше
тот хлопчик умрет,
который привел бы к единой надежде
всемирный наш род.
Заманчив проект социального рая,
но полная стыдь,
всех в мире детишек усыновляя,
своих запустить.
Глобальность порою шовинизма спесивей.
Я так ли живу?
Обнять человечество —
это красивей,
чем просто жену.
Я занят планетой,
раздрыган,
раскрошен.
Не муж —
срамота.
Свой сын,
если он позаброшен —
он брошен.
Он —
как сирота.
Должны мы бороться за детские души,
должны,
должны..
Но что, если под поучительской чужью
в нас нету души?

Учитель — он доктор,
а не поучитель,
и школа —
роддом.
Сначала вы право учить получите —
учите потом.
Должны мы бороться за детские души,
но как?
Отвратно игрушечное оружие
в ребячьих руках.
Должны мы бороться за детские души
прививкой стыда,
чтоб не уродились
ни фюрер,
ни дуче
из них никогда.
Но прежде чем лезть с поучительством грозным
и рваться в бои
за детские души,
пора бы нам, взрослым,
очистить свои...

В 1972 году в городе Сент-Пол, штат Миннесота, я читал стихи американским студентам на крытом стадионе, стоя на боксерском ринге, с которого непредусмотрительно были сняты металлические стойки и канаты. Внезапно я увидел, что к рингу бегут молодые люди — человек десять. Я подумал, что они хотят поздравить меня, пожать мне руку, и шагнул к краю ринга. Лишь в последний момент я заметил, что лица у них вовсе не поздравительные, а жесткие, деловые и в руках нет никаких цветов. По залу пронеслось многочисленное «а-ах!», ибо зал видел то, чего не видел я, — еще нескольких молодых людей, вскочивших на ринг сзади и набегавших на меня со спины. Резкий толчок в спину швырнул меня вниз, прямо под ноги подоспевшим «поздравителям». Все было сработано синхронно. Меня, лежащего, начали молниеносно и четко бить ногами. Единственное, что мне запомнилось, — это ритмично опускавшаяся на мои ребра, как молот, казавшаяся в тот миг гигантской, рубчатая подошва альпинистского ботинка с прилипшей к ней розовой оберткой от клубничной жвачки. И еще: сквозь мелькание бьющих меня под дых ног я увидел лихорадочные фотовспышки и молоденькую девушку-фоторепортера, которая, припав на колено, снимала мое избиение так же деловито, как меня били. Мой друг и переводчик Альберт Тодд бросился ко мне, прикрывая меня всем телом. Актер Барри Бойс схватил стойку от микрофона и начал орудовать ею, как палицей, случайно выбив зуб ни

в чем не повинному полицейскому. Опомнившиеся зрители бросились на нападающих, и, схваченные, поднятые их руками, те судорожно продолжали колотить ногами по воздуху, как будто старались меня добить. Задержанные оказались родившимися в США и Канаде детьми бандеровцев, сотрудничавших с Гитлером, как будто фашизм, не дотянувшийся во время войны до станции Зима, пытался достать меня в Америке. Шатаясь, я поднялся на ринг и читал еще примерно час. Боли, как ни странно, я не чувствовал. На вечеринке после концерта ко мне подошла та самая молоденькая девушка-фоторепортер. Ее точеная лебединая шея была обвита, как змеями, ремнями «Никона» и «Хассенблата».

— Завтра мои снимки увидит вся Америка... — утешающе и одновременно гордо сказала она.

Возможно, как профессионалка она была и права, но мне почему-то не захотелось с ней разговаривать. Профессиональный инстинкт оказался в ней сильнее человеческого инстинкта — помочь. И вдруг я ощутил страшную боль в нижнем ребре, такую, что меня всего скрючило.

— Перелома нет... — сказал доктор, рассматривая срочно сделанный в ближайшем госпитале снимок. — Есть надлом... Мне кажется, они угодили по старому надлому... Вы никогда не попадали в автомобильную аварию или в какую-нибудь другую переделку?

И вдруг я вспомнил. Вместо рубчатой подошвы альпинистского ботинка с прилипшей к нему розовой оберткой от клубничной жвачки я увидел над собой также вздымавшийся и опускавшийся на мои ребра каблук спекулянтского сапога с поблескивавшим полумесяцем стальной подковки, когда меня били на базаре сорок первого года. Я рассказал эту историю доктору и вдруг заметил в его несентиментальных глазах что-то похожее на слезы.

— К сожалению, в Америке мы плохо знаем, что ваш народ и ваши дети вынесли во время войны... — сказал доктор. — Но то, что вы рассказали, я увидел как в фильме... Почему бы вам не поставить фильм о вашем детстве?

Так во мне начался фильм «Детский сад» — от удара по старому надлому.

С моего первого надлома по ребру я больше всего ненавижу фашистов и спекулянтов.

Бьют по старому надлому,
бьют по мне —
по пацану,
бьют по мне —
по молодому,
бьют по мне,
почти седому,
объявляя мне войну.

Бьют фашисты, спекулянты
всех живых и молодых,
каблучищами

 таланты
норовя пырнуть под дых.
Бьют по старому надлому
мясники

 и булочки.
Бьют не только по былому —
бьют

 по будущему.
Сотня черная всемирна.
Ей с нейтронным топором,
как погром антисемитский,
снится атомный погром.
Под ее ногами — дети.
В них она вселяет страх
и террором на планете,
и террором в небесах.
По идеям бьют,

 по странам,
топчут нации в пыли,
бьют по стольким старым ранам
исстрадавшейся земли.
Но среди любых погромов,
чуждый шкворню и ножу,
изо всех моих надломов
я несломленность сложу.
Ничего, что столько маюсь
с черной сотнею в борьбе.
Не сломался...

 Не сломаюсь
от надлома на ребре!

— Какие дураки... — усмехнулся Пабло Неруда, просматривая свежий номер газеты «Меркурио», где его в очередной раз поливали довольно несвежей грязью. — Они пишут, что я двуликий Янус. Они меня недооценивают. У меня не два, а тысячи лиц. Но ни одно из них им не нравится, ибо не похоже на их лица... И слава богу, что не похоже...

Стояла редкая для Чили снежная зима 1972-го, и над домом Пабло Неруды, похожим на корабль, с криками кружились чайки, перемешанные с тревожным предупреждающим снегом...

Есть третий выбор — ничего не выбрать,
когда две лжи суют исподтишка,
не превратиться в чьих-то грязных играх
ни в подхалима, ни в клеветника.

Честней в канаве где-нибудь подохнуть,
чем предпочесть сомнительную честь
от ненависти к собственным подонкам
в объятия к чужим подонкам лезть.

Интеллекту истинному срамно,
гордясь незавербованной душой,
с отечеством своим порвав рекламно,
стать заодно с реакцией чужой.

Была совсем другой интеллигентность,
когда в борьбе за высший идеал
непредставимо было, чтобы Герцен
свой «Колокол» у Шпрингера издал.

Когда твой враг — шакал, не друг — акула.
Есть третий выбор — среди всей грызни
сесть меж двух стульев — если оба стула
по-разному, но все-таки грязны.

Но третий выбор мой — не просто «между».
На грязных стульях не сошелся свет.
Мой выбор — он в борьбе за всенадежду.
Без всенадежды гражданина нет.

Я выбрал то, чего не мог не выбрать.
Считаю одинаковой виной —
перед народом лстиво спину выгнуть
и повернуться к Родине спиной.

Рука генерала Пиночета не показалась мне сильной, когда я пожал ее, — а скорее бескостной, бескровной, бесхарактерной. Единственно, что неприятно запомнилось, — это холодная влажннка ладони. В моей пожелтевшей записной книжке 1968 года после званой вечеринки в Сантьяго, устроенной одним из руководителей аэрокомпании «Лан-Чили», именно так и зафиксировано в кратких характеристиках гостей: «Ген. Пиночет. Провинц. Рука холодн., влажн.». Мы о чем-то с ним, кажется, говорили, держа бокалы с одним из самых прекрасных вин в мире — «Макулем». Если бы я мог предугадать, кем он станет, я бы, видимо, был внимательней. Второй раз я его видел в 1972-м на трибуне перед Ла Монедой, когда он стоял за спиной президента Альенде, слишком подчеркнуто говорившего о верности чилийских генералов, как будто он сам старался себя в этом убедить. Глаза Пиночета были прикрыты черными зеркальными очками от бивших в лицо прожекторов.

Третий раз я увидел Пиночета весной 1984-го, когда я транзитом летел в Буэнос-Айрес через Сантьяго.

Генерал самодовольно, хотя несколько напряженно, улыбался мне с огромного портрета в аэропорту, как бы говоря: «А вы-то меня считали провинциалом». Под портретом Пиночета был газетный киоск, где не продавалось ни одной чилийской газеты. Когда я спросил продавщицу — почему, она оглянулась и доверительно шепнула:

— Да в них почти нет текста... Сплошные белые полосы — цензура вымарала... Даже в «Меркурио»... Поэтому и не продаем...

А рядом, в сувенирном магазинчике, я, вздрогнув, увидел дешевенькую ширпотребную чеканку с профилем Пабло.

Им стали торговать те, кто его убил.

На Puente de los Suspiros,
на Мосту Вздохов,
я,

как призрак мой собственный, вырос
над побулькиванием водосток.
Здесь ночами давно не вздыхают.
Вздохи прежние

издыхают.

Нож за каждую пальмою брезжит.
Легче призраком быть —

не прирежут.

В прежней жизни

и в прежней эпохе
с моей прежней — почти любимой
здесь когда-то чужие вздохи
мы подслушивали над Лимой.

И мы тоже вздыхали,
тоже
несмущенно и невиновато,
и Вселенная вся
по коже
растекалась голубовато.
И вздыхали со скрипом,
туго
даже спящие автомобили...
Понимали мы вздохи друг друга,
ну это и значит —

любили.
Никакая не чегеваристка,
вздохом втягивая пространство,
ты в любви не боялась риска —
Это было твое партизанство.
Словно вздох,
ты исчезла, Ракель.
Твое древнее имя из библии,
как болота Боливии гиблые,
засосала вселенская цвель.
Сам я сбился с пути,

полусбился.
Как Раскольников,
сумрачно тих,
я вернулся на место убийства
наших вздохов —

твоих
и моих.

Я не с той,
и со мною не та.
Сразу две подтасовки,
подмены,
и облезлые кошки надменны
на замшелых перилах моста,
и вздыхающих нет.

Пустота.
И ни вздохами,
и ни вяканьем
не поможешь.

Полнейший вакуум.
Я со стенами дрался,
с болотностью,
но с какой-то, хоть жидкой,
но плотностью.

Окружен я трясиной
и кваканьем.
Видно, самое жидкое —
вакуум.
Но о вакуум бьюсь я мордою —
видно,
вакуум — самое твердое.
Все живое считая лакомым,
даже крики глотает вакуум.
Словно вымер,
висящий криво,
мост,
одетый в зеленый мох.
Если сил не хватает для крика,
у людей остается вздох.
Человек распадается,
тает,
если сил
и на вздох не хватает.
Неужели сентиментальность
превратилась в растоптанный прах
и убежища вздохов
остались
только в тюрьмах,
больницах,
церквях?
Неужели вздыхать отучили?
Неужели боимся вздохнуть,
ибо вдруг на штыки,
словно в Чили,
чуть расправясь,
напорется грудь?
В грязь уроненное отечество
превращается
в пиночетество
На Puente de los Suspiros
рядом с тенью твоей,
Ракель,
ощущаю ножей заспинность
и заспинность штыков
и ракет.

Только море вздыхает грохотом,
и вздыхают пьянчужки
хохотом,
притворясь,
что им вовсе не плохо
и поэтому не до вдоха.

Империализм — это производство вулканов.

Я был в бункере, где прятался Сомоса, когда раскаленная лава революции подступила к Манагуа.

Бункер, к моему удивлению, оказался вовсе не подземным. Внутри серого казарменного здания скрывалось несколько комнат — кабинет, столовая, спальня, ванная и кухня. Был даже крошечный садик японского типа.

Это все почему-то и называлось бункером.

— Потрогайте,— предложил мне, улыбаясь, сопровождавший меня капитан. Я потрогал одно растение, другое — все они были из пластика. Антинародная диктатура и есть пластиковый сад: сколько бы ни восторгались придворные подхалимы плодами диктатуры, их нельзя ни поесть, ни понюхать.

На кожаном кресле Сомосы осталась пулевая дырка — это выстрелил сандинистский боец — выстрелил от ярости, не найдя тирана в его логове. Мне рассказали, что в ночь захвата бункера солдаты спали здесь, не снимая ботинок,— кто в алькове Сомосы, кто на диване, кто на полу. В ванную с искусственными волнами выстроилась очередь. А какая-то бездомная женщина с ребенком прикорнула прямо в кресле Сомосы, и ребенок прилежно расковырял пулевую дырку, выколупывая набивку пальчиком.

Меня поразило то, что в бункере не было ни одной книги.

— Он не читал даже газет, потому что заранее знал все, что в них будет написано... — презрительно сказал капитан.

Никогда бы я, никогда бы я
ни в действительности,
ни во сне
не увидел тебя,
Никарагуа,
если б не было сердца во мне.
И сердечность к народу выразили
те убийцы,
когда под хмельком
у восставшего
сердце вырезали
полицейским тупым тесаком.

Но, обвито дыханием, как дымом,
сердце билось комочком тугим.
Встала шерсть на собаках дыбом,
когда сердце швырнули им.
На последнем смертельном исходе
у забрызганных кровью сапог
в сердце билась

тоска по свободе —
это тоже одна из свобод.
Кровь убитых не спрячешь в сейфы.
Кровь —

на фраках,
мундирах,
манто.

Нет великих диктаторов —
все они
лишь раздувшееся ничто.
На бесчестности,

на получестности,
на банкетных помпейских столах,
на солдатчине,

на полицейщине
всех диктаторов троны стоят.
Нет,

не вам говорить о правах человека,
вырезатели сердца века!
Разве право — это расправа,
затыкание ртов,

изуверство?
Среди прав человека —
право

на невырезанное сердце.
У свободы так много слагаемых,
но народ плюс восстание —
грозно.

Нет
диктаторов несвергаемых.

Есть —
свергаемые слишком поздно.

После падения военной диктатуры в Аргентине на Международную книжную ярмарку 1984 года в Буэнос-Айресе выплеснулось буквально все, что было под запретом. Впервые за столькие годы на стендах стояла бывшая нелегальная литература — Маркс, Энгельс, Ленин!

Хосе Марти, Че Гевара, Фидель Кастро. Лавина свободы несла с собой и сексуальный мусор. Кропоткин и Бакунин соседствовали с историей борделей, Мао Цзэдун — с «Камасутрой», а Троцкий и Бухарин — со шведским бестселлером «Исповедь лесбиянки». Итальянского писателя Итало Кальвино аргентинцы чуть не разорвали от восторга, когда он вскользь бросил на читательской конференции банальное в Европе мазохистское выражение левых интеллектуалов: «Мы все изолгались. Пора кончать». Не в состоянии осмыслить ни бросаемых ему под ноги цветов, ни ярко-красных следов помады, припечатываемых ему на щеки губами рыдающих аргентинок, Кальвино растерянно хлопал глазами. Он просто, наверно, забыл или не знал, что еще год тому назад, когда на улицах Буэнос-Айреса собиралось больше, чем два-три человека, их арестовывали, и часто они исчезали без суда и следствия, расстрелянные и задушенные где-нибудь в застенках и на пустырях или утопленные в море. Во многих случаях их трупы бросали в строительные котлованы и вмуровывали в бетонные фундаменты новых отелей и банков. Так появилось в Аргентине страшное слово *desaparecidos* — исчезнувшие.

На первый бесцензурный политический фильм, сделанный в Аргентине по сценарию уругвайца-эмигранта Марио Бенедетти «*Veso de fuego*» — «Огненный поцелуй», стояли тысячные очереди. При фразе героя — морально разложившегося, однако испытывающего муки совести аргентинского Климата Самгина что-то вроде: «Все наши газеты годятся лишь на подтирку», — зрители аплодировали и топали ногами.

Залы книжной ярмарки были затоплены народом, приходившим покупать бывшие запрещенные книги с огромными сумками и даже с дерюжными мешками. Чтобы перекусить в буфете, надо было стоять в очереди часа полтора. Среди этого пиршества мысли я порядком изголодался. Когда перед самым моим носом, чуть не задев его, в чьей-то руке проплыл бумажный подносик с сэндвичем, внутри которого покоилась дымящаяся сосиска, сбрызнутая золотой струей горчицы, я невольно облизнулся. Неожиданно рука, в которой был поднос, сняла с него сэндвич и с поразившей меня непосредственностью ткнула мне прямо в рот, чтобы я откусил.

Именно — не разломила, а ткнула.

— Только половину, компаньеро... — на всякий случай сказал бастистый, почти мужской, но все-таки женский голос.

Жадно прожевывая сэндвич, я увидел перед собой высоченную, почти одного роста со мной, черноволосую, с редкими сединками женщину, у которой за могучими плечами висел рюкзак. Внутри рюкзака, набитого под завязку, прорисовывались острые ребра книг.

Женщина потрясла меня своей почти сибирской, военного образца грубоватой сердобольностью к изголодавшемуся человеку.

Мы познакомились. Ее звали Магдалена. Она была сельской учительницей, приехавшей из далекой горной провинции покупать книги для школьной библиотеки.

Я пригласил ее в литературное кафе и по дороге украдкой ее разглядывал. Магдалене было лет тридцать пять. Она была по-своему красива, хотя все в ней было прямолинейно, грубовато, укрупненно — слова, жесты, руки, ноги. Да, о ногах. Без чулок, исцарапанные, видимо, горными колючками, одетые в пыльные альпинистские ботинки, они были загорелы, стройны и необозримы — правда, излишне основательны, как дорические колонны. Но особенно прекрасны были ее коленки, независимо торчавшие из-под холщовой юбки с крестьянской вышивкой, — крепкие, мощные, как лбы двух маленьких слонят. Она уловила мой взгляд и усмехнулась — не зло, но неодобрительно.

Стены литературного кафе были завешаны, как легализованными прокламациями, стихами бесследно исчезнувших во время диктатуры поэтов. Магдалена, почти не притронувшись к вину, встала, оставив рюкзак с книгами на полу, и медленно пошла вдоль стен, читая и беззвучно шевеля губами. Потом она села и залпом хлопнула целый бокал. Она вообще не стеснялась, и в этом была ее прелесть.

— Я знала многих из этих поэтов лично... — сказала Магдалена.

— Вы ходили на их выступления? — спросил я.

— Нет, я их арестовывала... — ответила она.

Это говорю вам я,

Магдалена,

бывшая женщина-полицейский.

Как видите,

я не в крови по колена,

да и коленки такие ценятся.

Нам не разрешили

никакие «мини»,

но я не опустила

до казенных «макси»,

и торчали колени,

как две террористские мины,

над сапогами в государственной вахсе.

И когда я высматривала в Буэнос-Айресе,

нет ли врагов государства поблизости,

нравилось мне,

что меня побаиваются

и одновременно

на коленки облизываются.

Наши агенты
 называли агентами
 всех,
 кого считали интеллигентами.
 И кого я из мыслящих не арестовывала?
 Разве что только не Аристотеля.
 В квартиры,
 намеченные заранее,
 я вламывалась
 наподобие танка,
 и от счастья
 правительственного задания
 кобура на боку
 танцевала танго.
 Но заметила я
 в сослуживцах доблестных,
 что они
 прикарманивают при обысках
 магнитофоны —
 а особенно видео,
 и это
 меня
 идеологически обидело.
 И я постепенно поняла не без натуги
 то, что не каждому понять удастся,—
 какие отвратные
 у государства слуги,
 какие симпатичные
 враги у государства.
 И однажды один
 очень милый такой «подрывной элемент»
 улыбнулся,
 глазами жалея меня,
 как при грустном гадании:
 «Эх, мучача...
 А может быть, внук твой когда-нибудь
 на свиданье придет
 не под чей-нибудь — мой монумент...»
 Он сказал это, может, не очень-то скромно,
 но когда увели его не в тюрьму,
 а швырнули в бетономешалку,
 бетон выдающую
 с кровью,—
 почему-то поверила я ему.
 Он писателем был.

Я припрятала при конфискации
тоненький том,
а когда я прочла —
заревела,
как будто пробило плотину,
ибо я поняла
не беременным в жизни ни разу еще
животом,
что такие, как он,
и спасали мою Аргентину.
А другого писателя
в спину пихнули прикладом при мне
и поставили к стенке,
но не расстреляли, подонки,
а размазали тело его
«студебеккером»
по стене
так, что брызнули на радиатор
кровавые клочья печенки.
Все исчезли они без суда.
Все исчезли они без следа.
Проклиная свое невежество
патриотической дуры,
я ушла из полиции
и поклялась навсегда
стать
учительницей литературы!
И теперь я отмаливаю грехи
в деревенской школе,
куда попросилась,
и крестьянским детишкам
читаю стихи
этих исчезнувших —
«desaparecidos».
А ночами
я корчусь на безмужней простыне,
с дурацкими коленками,
бессмысленно ногостая,
и местный аптекарь
украдкой приходит ко мне
и поспешно ерзает,
не снимая галстука.

На другом, бразильском берегу, тоже виднелись безучастно созерцающие фигуры.

— Все-таки это ближе к перуанской территории,— наверно, сказал тамошний начальник полиции и тоже замялся по поводу отношений на сегодняшний день с Эквадором.

Корабль медленно потонул на наших глазах вместе с остатками команды. Ничего нет страшней, когда люди брошены другими людьми.

Я долго не спал той ночью в поселке охотников за крокодилами Летиции и почему-то вспомнил бульдозериста на Колыме Сарапулькина. Он бы не бросил.

Внутри пирамиды Хеопса

подавленно, сыро, запуганно.

Крысы у саркофага шастают в полутьме.

А я вам расскажу

про саркофаг Сарапулькина,

бульдозериста

на Колыме.

Сарапулькин вышел не ростом,

а грудью.

Она широченная —

не подходи,

и лезет сквозь продранную робу грубую

рыжая тайга с этой самой груди.

И на груди,

и на башке он рыжий,

а еще на носу,

на щеках

и на ушах!

Хоть бы поделился веснушкой лишней!

Весь он —

как в золоте персидский шах!

Вот он выражается,

прямо скажем, крепенько.

Рычаг потянул

и на газ нажал,

зыркая

из-под промасленного кепора,

такого, что хоть выжми

и картошку жарь!

Шебутной,
 баламутный,
 около мутной
от промытого золота Колымы,
в свое выходное
 заслуженное утро
Сарапулькин
 ворочает
 валуны.

Он делает сигналом
 предостережение
сусликам,
 высочившим из-под корней,
и образовывается
 величественное сооружение,
а не бессмысленная
 гора из камней.

Ни на Новодевичьем,
 ни на Ваганьковском
ничего подобного,
 так-перетак!
«Слушай, Сарапулькин,
 ты чо тут наварганиваешь?»

«Я,
 товарищ,
 строю себе саркофаг».

«Ты чо — рехнулся? Шарики за ролики?
Ты чо,
 вообразил, что ты — фараон?»

«А ну отойдите от меня,
 алкоголики,
или помогайте.
 Не ловите ворон.

Я —
 против исторического рабства и холопства.

Любого культа личности —
 я личный враг.

Но чем я,
 спрашивается,
 хуже Хеопса?

Поэтому я строю себе саркофаг.

«Что это за штука?» —

спросит,

гуляя с детьми-крохотульками,

в трехтысячном году

марсианский интурист,

а ему ответят:

«Саркофаг Сарапулькина!

Был на Колыме

такой бульдозерист».

Ну что — помогаете

или за водкой потопали?

Виджу по глазам —

вам нужен фараон.

Кстати,

работаю исключительно на сэкономленном топливе,

так что государству

не наносится урон.

В ларек опоздаете?

Эх, вы, работяги!

Вы не класс рабочий,

а так,

лабуда.

Делали бы лучше вы себе саркофаги,

может быть, пили бы меньше тогда...»

И всех фараонов отвергая начисто,

а также алкоголиков,

рвущихся к ларьку,

он их посылает

на то, чем были зачаты...

Это —

сарапулькинское фуку!

Антонио Грамши когда-то сказал: «Я — пессимист по своим наблюдениям, но оптимист — по своим действиям».

Я видел разруху войны,

но мир лицемерный — разруха.

У лжемиротворцев —

крысиные рыльца в пушку.

Всем тем,

кто посеял голод и тела,

и духа,—

фуку!

Забыли мы имя строителя храма Дианы Эфесской,

но помним, кто сжег этот храм.

Непомерный почет фашистенку,

ценку.

Стараясь не глядеть на портрет, я перевел разговор на другую тему:

— У Асеева были когда-то такие строки о Маяковском: «Только ходят слабенюкие версийки, слухов пыль дорожную крутя, что осталось в дальней-дальней Мексике от него затеряно дитя». Вы ведь встречались с Маяковским, когда он приезжал в Мексику... Это правда, что у Маяковского есть сын?

Сикейрос засмеялся:

— Не трать время на долгие поиски... Завтра утром, когда будешь бриться, взгляни в зеркало.

Последнее слово мне рано еще говорить —

говоря я почти напоследок, как полуисчезнувший предок,

таща в междувременьи тело.

Я —

не оставлявший объедков эпохи

случайный огрызок, объедок.

История мной поперхнулась,

меня не догрызла, не съела.

Почти напоследок:

Я —

эвакуации точный и прочный безжалостный слепок,

и чтобы узнать меня,

вовсе не надобно бирки.

Я слеплен в пурге

буферами вагонных скрежещущих сцепок,

как будто ладонями ржавыми Транссибирки.

Почти напоследок:

я в «чертовой коже» ходил.

будто ада наследник.

Штанина любая гремела при стуже

промерзлой трубой водосточной,

и «чертова кожа» к моей приросла,

и не слезла.

и в драках спасала

хребет позвоночный,

бессрочный.

Почти напоследок:

однажды я плакал

в тени прищосейных замызганных веток,

прижавшись башкою

к запретному, красному с прожелтью знаку,

и все, что пихали в меня
на демьяновых чьих-то банкетах,
меня
выворчивало
наизнанку.

Почти напоследок:
эпоха на мне поплясала
от грязных сапог до балеток.

Я был не на сцене —
был сценой в крови эпохальной и рвоте,
и то, что казалось не кровью, —
а жаждой подмостков,
подсветок, —
я не сомневаюсь —
когда-нибудь подвигом вы назовете.

Почти напоследок:
я — сорванный глас всех безгласных,
я — слабенький след всех бесследных,
я — полуразвеянный пепел
сожженного кем-то романа.
В испуганных чинных передних
я — всех подворотен посредник,
исчадие нар,
вошебойки,
барака,
толкучки,
шалмана.

Почти напоследок:
я,
мяса полжизни искавший погнутою вилкой
в столовских котлетах,
в неполные десять
ругнувшийся матом при тете,
к потомкам приду,
словно в лермонтовских эполетах,
в следах от ладоней чужих
с милицейски учтивым «пройдемте!».

Почти напоследок:
я — всем временам однолеток,
земляк всем землянам
и даже галактианам.

Я,
 словно индеец в Колумбовых ржавых браслетах,
«фуку!» прохриплю перед смертью
 поддельно бессмертным тиранам.
Почти напоследок:
поэт,
 как монета петровская,
 сделался редок.
Он даже пугает
 соседей по шару земному,
 соседек.
Но договорюсь я с потомками —
 так или эдак —
почти откровенно.
 Почти умирая.
 Почти напоследок.

КОНЕЦ

*Гавана — Санто-Доминго — Гуернавака — Лима —
Манагуа — Каракас — Венеция — Леондинг — стан-
ция Зима — Гульрипиши — Переделкино.*

1963—1985 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Полтравиночки	3
Труба	4
Неверие в себя необходимо	5
Непонятым поэтам	6
Размышления у черного хода	7
Кабычегоневышлисты	10
Производители уродства	13
«Не отдала еще...»	14
Проходные дети	16
Фуку! (<i>Фрагменты поэмы</i>)	18

Евгений Александрович ЕВТУШЕНКО

ПОЛТРАВИНОЧКИ

Стихи и поэма

Редактор Е. А. Антошкин

Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 16.04.86. Подписано к печати
23.06.86. А 01993. Формат $70 \times 108^{1/32}$.
Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80.
Учетно-изд. л. 3,78. Усл. кр.-отт. 2,98.
Тираж 80 000 экз. Изд. № 1634. Заказ
№ 2809. Цена 35 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865.
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

● МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ — НАПРОКАТ

Если Вы решили обучить ребенка игре на музыкальном инструменте и не уверены, будет ли он серьезно заниматься, советуем для начала взять этот музыкальный инструмент напрокат.

Салоны и пункты проката предлагают баяны, гармони, рояли, пианино, скрипки, гитары, электрогитары, балалайки.

Если дома негде поставить пианино, можно воспользоваться почасовым прокатом в специально отведенном для этого помещении.

Росбытреклама